



УДК 821.161.1.09

«НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ» КАК ВОЗМОЖНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИАЛОГА ДЕРЖАВИНА И ЕКАТЕРИНЫ II

Т.И.Акимова

Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева, akimova_ti@mail.ru

Лирическое произведение В.Маяковского анализируется с точки зрения державинской одической традиции. Показано, что в стихотворении «Необычайное приключение...» (1920) Маяковский соединяет завязки двух программных од Г.Державина, вдохновленных екатерининской «Сказкой о царевиче Хлоре» — «Фелицы» и «Видения Мурзы».

Ключевые слова: одическая традиция, поэтический диалог, литературная модель, художественная программа

The author of the article analyzes V.Mayakovsky's poems from the point of view of Derzhavin's ode tradition. In his poem «Neobychnoie prikluychenie...» (*An Unbelievable Adventure...*), 1920, Mayakovsky unites the nodes of two Derzhavin's program odes inspired by Queen Ekaterina's «Skazka o tsarevitche Khlore» (*A Fairy-Tale about Prince Khloro*): «Felitsa» and «Videniya Murzy» (*Visions of Murza*).

Keywords: ode tradition, poetical dialogue, literary model, imaginative program

О связи Владимира Маяковского — как раннего, футуристического, так и позднего — с русской одической традицией XVIII в. писали в разное время Ю.Тынянов [1], Р.Якобсон [2], а в последнее десятилетие — И.Смирнов [3], М.Вайскопф [4], В.Мусатов [5] и др. При этом отмечалось, как правило, совпадение не просто литературных моделей, но лежащее в их подоплеке типологическое сходство эпох: просвещенного абсолютизма и 1920-х гг. Рожденные ими культурные мифы государства «подсказывали», а зачастую и формировали самоощущение поэтов как собеседников власти и со-строителей государства.

Именно в этом контексте мы хотим привлечь внимание к двум параллелям к стихотворению В.Маяковского 1920 г. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Речь идет о двух программных вещах Г.Р.Державина. Первая — «Ода к премудрой киргизкайсацкой царевне Фелице, писанная некоторым татарским мурзою, издавна поселившимся в Москве, а живущим по делам своим в Санкт Петербурге. Переведена с арабского языка 1782», а второе — «Видение Мурзы» (1784), принадлежащее наряду с «Благодарностью Фелицы» (1783) и «Изображением Фелицы» (1789) к циклу лирических аполгий Екатерины, «спровоцированных» ее «Сказкой о царевиче Хлоре» (1782) [6]. «Сказка...», в которой Екатерина вывела себя под именем мудрой царевны Фелицы, писала ее, как известно, для старшего внука, четырехлетнего Великого князя Александра Павловича. Но, напечатав сказку в типографии Академии наук, Екатерина дала понять, что та является идеологическим посланием обществу, в том числе литературному, и на него ожидается ответ. Таким ответом и стали державинская «Фелица» и последующие стихотворения цикла.

С «Видением Мурзы» стихи Маяковского соотносятся общей идейно-образной завязкой: явлением поэту огнеподобного властителя — божества, которое поэт сначала связывает с карающей казнью. Перед Мурзой:

Раздвиглись стены, и стократно
Ярчае молний пролилось
Сиянье вокруг меня небесно... [7].

Поэт Маяковского поражен вроде бы не меньше:

Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле [8].

У Державина «солнечная» образность — устойчивая и в общем этикетная для оды поэтическая топика богоподобного монарха. У Маяковского же солярная и вообще космическая символика устойчиво связывается с социально-исторической. Так, в «Мистерии-Буфф» (1918) вселенский потоп, подобный библейскому, оказывается прелюдией и даже необходимым условием социального переустройства мира. А в «Необычайном приключении...» рукотворный сдвиг «солнцеворота» выступает уже логическим продолжением революционного сдвига в мире людей.

Переключки стихотворения Маяковского с двумя державинскими вещами особенно примечательны потому, что последние не столько воплотили в себе одическую традицию, сколько кардинальным образом ее преобразовали. В «Фелице» ода превращается в дружеское послание, а в «Видение Мурзы» инсценирует встречу поэта с царицей в формах предромантизма. Это позволяет предположить как общее

направление новаторства двух поэтов, так и их общий источник.

Лирического героя Маяковского в неизменности солнечного круговорота возмущают две вещи. Во-первых, то, что светило выступает, по сути, не хозяином мира, а рабски-однообразно обслуживающим его механизмом:

А завтра
снова
мир залить
вставало солнце ало.
И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало.

А во-вторых, — оторванность космического мира от земного и его насущных дел:

Я крикнул солнцу:
«Дармоед!
Занежен в облака ты,
а тут — не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»

Эта оторванность выглядит тем более нелогично, что сам космический мир в стихотворении предельно «заземлен»:

...Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.

Эта заземленность усугубляется протокольными пояснениями о «месте происшествия» («дача Румянцева, 27 верст по Ярославской жел. дор.»), что почти превращает «видение» в официально задокументированный отчет. Поэту дерзкое приглашение поэта солнцу:

«Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»

имеет, по меньшей мере, два подтекста. Во-первых, солнцу предлагается снизойти от захода «без дела» («шляться в пекло») до человеческого мира и его дел, т. е. как бы «очеловечиться». А во-вторых, такое «очеловечение» явно подразумевает освобождение солнца от вековечной однообразной повинности, своего рода самоопределение.

Вслед за «Видением Мурзы» явление светила в «Необычайном приключении...» оборачивается не казнью, но «откровением» поэту о его поэтической миссии. Однако откровение это поэт получает в ходе душевного разговора со «светилом» о насущных (и постепенно оказывающихся в основе своей подобными!) делах того и другого:

Но странная из солнца ясь
струилась, —
и степенность
забыв,
сiju, разговорясь
с светилом
постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко.
— Поди, попробуй! —
А вот идешь —
взялось идти,
идешь — и светишь в оба!»
<...>
На «ты»
мы с ним, совсем освоюсь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.

В свою очередь, поэт в разговоре с солнцем за просто постепенно возвышает свое призвание до второго светила: «Вдруг — я / во всю светаю мочь — / и снова день трезвонится». Эта общая с солнцем функция светила фактически наделяет поэта бессмертием: вместе с солнцем они намерены «светить всегда, / светить везде, / до дней последних донца». «Донце дней» прозрачно подразумевает не конец жизни поэта, а конец света.

Такой модус «разговора запросто» с властным светилом и был узаконен Державиным в «Фелице», где царица впервые восхваляется не как условно-риторическое небесное божество, а как живой человек, именно в силу своей человечности снисходительный к слабостям других. Внешне Державин противопоставляет свое сибаритство царскому трудолюбию и скромности:

Мурзам твоим не подражая,
Почасту ходишь ты пешком,
И пища самая простая
Бывает за твоим столом;
Не дорожа твоим покоем,
Читаешь, пишешь пред налоем...

.....
... Подобно в карты не играешь,
Как я, от утра до утра.

Не слишком любишь маскарады,
А в клуб не ступишь и ногой...

.....
... Но кротости ходя стезею,
Благотворящею душою
Полезных дней проводишь ток.

С этим контрастирует сибаритство «прихотей раба». Это касается сна «до полудни», кофе и табака, «прельщения нарядом», «пира пребогатого», загородных вы-

ездов с «младой девицей», конных скачек, охоты, кабаков («шинков») и проч., что знаменует собой досуг дворянства, освобожденной Екатериной от обязательной службы. Как известно, образ автора «Фелицы» объединял ряд конкретных придворных персон, которые в свою очередь символизируют народ, подлежащий царскому воспитанию: «Таков, Фелица, я развратен! / Но на меня весь свет похож» (курсив мой. — Т.А.). Однако образ автора внутренне един. Часть «прихотей» очевидно принадлежит самому поэту:

Иль сидя дома я прокажу,
Играю в дураки с женой;
То с ней на голубятню лажу,
То в жмурки рѣзвимся порой;
Т в свайку с нею веселюся,
То ею в голове ищуся;
То в книгах рыться я люблю,
Мой ум и сердце просвещаю,
Полкана и Бову читаю;
За Библией, зевая, сплю.

И все же чудотворную благодать Фелицы Державин обнаруживает не в строительно-государственной мощи, как это полагалось в хвалебной оде, начиная с Ломоносова. Она состоит в первую очередь в *отказе от деспотии*:

Слух идет о твоих поступках,
Что ты нимало не горда,
Любезна и в делах и в шутках...
.....
Что будто завсегда возможно
Тебе и правду говорить.

Неслыханное также дело,
Достойное тебя одной,
Что будто ты народу смело
О всем, и въявь, и под рукой,
И знать и мыслить позволяешь...
<...>

...можно пошептать в беседах,
И, казни не боясь, в обедах
За здравие царей не пить.

...с именем Фелицы можно
В строке описку поскоблить
Или портрет неосторожно
Ее на землю уронить.

Деспотия несовместима с *уважением к личности*, присутствия Фелице:

Там свадеб шутовских не парят,
В ледовых банях их не жарят,
Не щелкают в усы вельмож;
Князя наседками не клохчут,
Любимцы въявь им не хохочут
И сажей не марают рож.

Из уважения к личности вытекает *снихождение к ее слабостям*. Поэтому-то, подчеркивает поэт,

И о себе не запрещаешь
И быль и небыль говорить...

.....
Твоих всех милостей Зоилам
Всегда склоняешься простить.

Снисходительность Фелицы к слабостям подданных:

Едина ты лишь не обидишь,
Не оскорбляешь никого,
Дурачества сквозь пальцы видишь,
Лишь зла не терпишь одного...

перекликается с советом солнца Маяковскому «смотреть на вещи просто».

В конечном счете фундаментом благодетей Фелицы-Екатерины оказывается *освобождение личности*, и прежде всего — дворянской, т. е. подтверждение «Манифеста о вольности дворянства» 1762 г.:

Фелицы слава — слава Бога...

<...>

Который даровал свободу
В чужие области скакать,
Позволил своему народу
Сребра и золота искать;
Который.....

.....
Развязывая ум и руки,
Велит любить торги, науки
И счастье дома находить.

Эта мысль программно разворачивается в «Изображении Фелицы», фактически перелагающем «Наказ» Екатерины (1767) [9] и ее «Жалованную грамоту городам» [10], — прежде всего в части утверждения прав и свобод подданных:

«Я счастья вашего искала,
И в вас его нашла я вам;
Став сами вы себе послушны.
Живите, славьтесь в мой век
И будьте столь благополучны,
Колико может человек.

Я вам даю свободу мыслить
И разуметь себя ценить,
Не в рабстве, а в подданстве числить
И в ноги мне челом не бить.
Даю вам право без препоны
Мне ваши нужды представлять,
Читать и знать мои законы
И в них ошибки замечать.

Даю вам право собираться...

.....
...И не всегда меня хвалить.
Даю вам право беспристрастно
В судьи друг друга выбирать,
Самим дела свои всевластно
И начинать и окончать».

Царица, таким образом, становится «владычицей сердец», бесстрашно разрешившей узы «издревле скованных цепями».

Отказ от деспотии, уважение к личности и снисхождение к ней коренятся в человечности царицы, признаваемой ею в «Видении Мурзы»: «Владыки света — люди те же; / В них страсти, хоть на них венцы...». В «Изображении Фелицы» эта человечность становится программой:

...Народ счастливый и блаженный
Великой бы ее нарек,
Поднес бы титулы ей священны;
Она б рекла: «Я человек».

Именно сознательный отказ царицы от божественного в пользу человеческого превращает Фелицу в космическое светило. Ей

...единой лишь пристойно...
...свет из тьмы творить;
Деля Хаос на сферы стройно,
Союзом целость их крепить;
Из разногласия согласие...

(Ср. в «Изображении Фелицы»:

...солнцы в путь свой покатались
И тысячи вкруг их планет;
Из праха грады возносились,
Восстали царства, — и был свет.)

Фактически «богоподобная царевна» выступает не только и не столько *противовесом*, сколько *источником* свободной («приватной») жизни дворянина и, тем самым, его сибаритства. Это и меняет как статус и характер автора хвалебной оды, так и ее жанровую суть. К царице-человеку обращается не анонимный голос влюбленного народа, а свободный, точнее освобожденный ею, дворянин. Это позволяет Державину впервые в русской литературе превратить хвалебную оду царице в *дружеское послание* ей. Содержание послания — свободная и «пышная» жизнь дворянина, которой он всецело обязан царице и в которой духовно управляет ею.

Эта форма диалога с царицей «запросто» является предметом авторской рефлексии и публичной дискуссии с оппонентами в «Видении Мурзы». После чудесного появления и исчезновения Фелицы, упрекнувшей его в чрезмерной поэтической лести, Мурза вспоминает упреки на ту же тему своих критиков. Упреки эти оказываются взаимоисключающими: «...тот хотел арбуза, / А тот соленых огурцов...». Одни видят поэта чрезмерно льстивым, т. е. традиционным одописцем:

...Иной вмнял мне в преступленье,
Что я посланницей небес
Тебя быть мыслил в восхищенье
И лил в восторге токи слез.

Другие, привыкшие к рабскому самоунижению перед монархом (почти по тексту «Фелицы»), считают Мурзу чересчур вольным в обращении с царицей:

Иной отнес себе к бесчестью,
Что не дерут его усов;
Иному показалось больно,
Что он наседкой не сидит;
Иному — очень своевольно
С Тобой Мурза Твой говорит...

Ни тем, ни другим не дано понять гармонию восхищения с легкостью и свободой, присущую свободному дворянину и свободному поэту в диалоге с освободившей его царицей.

Таким образом, у Державина, как затем и у Маяковского, мы видим «встречное» преобразование властного богоподобного светила и поэта. Очеловечивание царицы есть не только ее «снихождение» к людям, но и освобождение от условной рамки «богини». А это в свою очередь вызывает встречное возвышение поэта. Но если Державин переходит из позиции анонимного гимнопевца в позицию свободного дворянина — поэта, хвалящего царицу в ходе задушевного разговора о собственной жизни, то Маяковский восходит к

позиции второго солнца, светящего наравне с первым «всегда» и «везде»: «Ты да я, / Нас, товарищ, двое!». Солнце зовет поэта с собой: «Пойдем, поэт, / взорим, / воспоем / у мира в сером хламе», — приглашая к совместному труду. Таким образом, солнечная миссия у поэта XX века определяется работой каждого над своим сиянием: «Я буду солнце лить свое, / а ты — свое, / стихами», в котором человеческие качества уступают место миростроительным и богоподобным в утверждающем пафосе всеобщего труда.

Между тем, преобразование не только формы, но и сюжета и пафоса оды было предопределено самой екатерининской «Сказкой о царевиче Хлоре». Символическое тождество Фелицы горе, на которой растет роза без шипов, по-своему обыгрывает одическое совпадение тела императрицы и территории управляемой ею страны, заданное в оде М. Ломоносова «Разговор с Анакреонтом». В этом контексте путь царевича Хлора за волшебным знанием становится инициационным. Тем самым, в сюжет шутивно-эзотерической сказки переводится традиционный смысл русской хвалебной оды, где божественную мудрость царицы «впитывает» весь ее народ. В екатерининском тексте народ персонафицирован в Хлоре — внуке и наследнике реальной Фелицы. В этом преобразовании оды в шутивно-галантную сказку Державин угадал желание царицы быть не абстрактной героиней хвалебного гимна, а партнером дружеского поэтического диалога. Это отзывается в «Фелице» соответствующим «очеловечиванием» самой поэзии, а тем самым и поэта — по воле царицы.

Таким образом, вместе «Сказка о царевиче Хлоре», оды Державина и «Необычайное приключение...» Маяковского выглядят своего рода триадой преобразования смыслов по линиям: а) «интимизации» отношений поэта и «светила»; б) преобразования его роли государственного строителя именно на базе этой интимизации.

1. Тынянов Ю.Н. Промежуток // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С.168-195.
2. Якобсон Р.О. О поколении, растратившем своих поэтов // Якобсон Р., Святополк-Мирский Д. Смерть Владимира Маяковского. The Hague; Paris: Mouton, 1975. С.8-34.
3. Смирнов И.П. Художественный смысл и эволюция художественных систем. М., 1977. 203 с.
4. Вайскопф М.Я. Во весь логос. Религия Маяковского. М.; Иерусалим, 1997. 176 с.
5. Мусатов В.В. Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины XX века. М., 1998. 484 с.
6. Екатерина II. Сказка о царевиче Хлоре. СПб., 1782. 22 с.
7. Державин Г.Р. Сочинения: Стихотворения; Записки; Письма. Л., 1987. С. 63. Далее цитаты приводятся по этому изданию.
8. Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т.2. М., 1956. С.36. Далее цитаты — по этому изданию.
9. «В государстве, то есть в собрании людей, обществом живущих, где есть законы, вольность не может состоять ни в чем ином, как в возможности делать то, что каждому надлежит хотеть, и чтоб не быть принуждену делать то, что хотеть не должно» (Екатерина II. Наказ Комиссии о составлении проекта нового Уложения. Гл.V. П.37. М., 2003. С.75).
10. Грамота на права, вольности и преимущества вольного русского дворянства (1785) // Российское законодательство X — XX вв. в 9 т. Т.5. Законодательство периода расцвета абсолютизма. М., 1987. С.23-53.